

В. КАЛИН

КАК ЭТО БЫЛО



12+

Виталий Калинин
Как это было

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Калин В.

Как это было / В. Калин — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Книга рассказывает о поездке шестилетнего мальчика в 1944 году из Горького в Баку. О событиях и приключениях во время этой поездки, происходящих с героем повести и другими персонажами. Книга написана от лица мальчика, иногда разбавляемая комментариями взрослого умудренного человека.

Виталий Калинин Как это было

Дядя Жора и луна

Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!
Ах, в памяти очах – как бесконечно мал!
(Ш. Бодлер – М. Цветаева)

Сегодня полнолуние. И мне опять не спится. Бледное ночное светило подползает к моему окну. Небо становится светлее, и вот уже сквозь листву я вижу яркие пятна лунного света, похожие то ли на рассыпанные драгоценные камни, то ли на солнечные блики на темной воде. Наконец показывается и сама луна, осветив тумбочку с букетом цветов и пол с кошачьими мисками. На фоне посветлевшего неба изящно вырисовывается ветка яблони, упирающаяся в мое окно. Опять забыл отпилить эту ветку, который день собираюсь и все забываю. Тут же вспоминаю про маленький клен, поселившийся у яблони, а там черемуха, влезшая в рябиновый куст, не опрокинутые бочки и целый ворох других забот, сменяя друг друга, напоминают о себе. Кончается короткое северное лето, основные летние работы окончены, но всегда найдутся какие-то мелочи, не оставляющие меня в покое.

Мне кажется, что я вижу, как струится лунный свет и вместе с ним в меня проникает легкое беспокойство и тревожное ожидание чего-то неизвестного. А может быть – это голос вселенной, вечности, который напоминает мне о тщетности и ничтожности многих наших устремлений и желаний. Мысли роятся, рассыпаются, беспорядочно выхватывая разные эпизоды моей долгой, интересной жизни. Вспоминается такая же ночь, летом 1952 года. Жил я тогда в Чухур-Юрте (село в предгорьях Кавказа, 130 км от Баку). У меня летние каникулы. Я в гостях у сестры моего отца. Тетя Нина и дядя Жора преподавали в местной средней школе. Я поправлял у них здоровье, подорванное в зимних непосильных трудах на ниве образования. Пил буйволиное молоко и готовился к двум переэкзаменовкам по математике. Такая же летняя ночь, так же смотрел на ветки с плодами, любовался яркой круглой луной, и мне почему-то не спится. За спиной был активно прожитый день четырнадцатилетнего мальчишки. Время тогда было очень интересное. Наш народ, переживший тяжелейшую войну, вышел из нее победителем. За 7 лет практически было восстановлено народное хозяйство, достигнут и превзойден довоенный уровень производства, много построено новых объектов и жилья. Возрождались покалеченная в военных действиях природа и сельское хозяйство. В южных областях России создавались лесозащитные Сталинские полосы, в средних и северных-мичуринские плодовые сады. На много лет раньше, чем в Европе, была отменена карточная система. Несколько раз в году происходило снижение розничных цен на все товары и продукты, произведенные в СССР.

В том году мы впервые участвовали в Олимпийских играх в Хельсинки, газеты были заполнены фотографиями наших спортсменов в синих костюмах с белой полосой и надписью СССР на груди. Третье – четвертое место, занятые командой, спортсменом воспринималось как неудача, все ждали только победы. И мы были победителями, и наш народ гордился этим. Даже в страшном сне, никто не предполагал, что спустя много лет, наш народ будет облапошен «рыночными» наперсточниками от экономики и мы, процветающая, богатейшая страна будем влачить жалкое существование.... А пока каждый день радостный, наполненный хорошими новостями и веселой суетой.

Летние каникулы, счастливая пора. Не хватало времени толком поесть, с недоеденным куском надо бежать на футбол (играли тогда двор на двор, улица на улицу и т.д.), потом лезть на дерево за грушами-скороспелками, а там глядишь, формируется команда для игры в «казаки –

разбойники», поливаешь помидоры, дыни, арбузы, вспомнишь про кусок, который притащил с собой от обеда и не найдешь, где его потерял. И вот, после такого напряженного дня, едва добравшись до постели, сразу же окунёшься в сладкий спокойный сон, ну, разве иногда утихающие эмоции немного отодвинут момент засыпания. Но сегодня что-то дневные впечатления долго не оставляют меня. Смотрю на поспевающий инжир, яблоки, подсвеченные лунными бликами, и думаю, думаю, думаю.... Уснул я уже под утро.

За завтраком на вопросы родственников, почему я такой вялый, я рассказал о своей бессоннице. Братец мой посмеялся надо мной, тетя Нина захлопотала – не заболел ли я, не переутомился ли, а дядя Жора, когда я поливал огурцы с арбузами (это была моя обязанность) подозвал меня к себе и стал объяснять причины моей бессонницы с научной точки зрения.

Дядя Жора был чем-то похож на Паганеля, но так он выглядел издали, такой же длинный, худой, чуть-чуть сутулый. Но когда он приближался и разговаривал с тобой, а ты видел умный, внимательный взгляд из-под кустистых бровей, четкую, громкую, уверенную речь, на память приходил образ партизанского командира из фильмов того времени. В школе у него было прозвище «Астроном». Это был фанатик математики и всех точных наук. Его коньком было небо, и все, что там находится, если человек не любил математику и не разбирался в ней, он терял к нему интерес, считая его неполноценным. Он занимался со мной математикой 1,5 часа в день и рассказывал всякие случаи, которые больше были похожи на исторические анекдоты, чем на математику. Много лет спустя, где-то возле Шемахи построили обсерваторию, и дядя Жора стал там работать. К нему очень подходили строки, написанные Б. Пильником

Когда и кто, шагая по созвездьям
Внушил земле сомненья мудрых числ??
Болей тоской по недоступным безднам,
И смутными сомненьями лечись.

Так вот подозвав меня к себе, дядя Жора начал свой монолог: «Ты, Виталик, охламон и бездельник, ученик, который так относится к математике, как ты, не может быть полноценной личностью, и, где бы ты не работал, успеха тебе не видать. Ты не можешь аналитически мыслить, поэтому будешь совершать много пустых, ошибочных действий и идти по ложному пути, т.е. решения твои будут случайные, не эффективные.

Я не вижу тебя ни инженером, ни руководителем. Все мы стремимся к достижению некой цели в жизни, но к сожалению, не все зависит от нашего желания. Все мы только ничтожные частицы мироздания – судьбы наши зависят от космоса, от его излучения, расположения планет, времени года, суток и множества других причин. Твоя бессонница говорит о том, что ты ощущаешь влияние планеты «Луна» – она оказывает на тебя воздействие и посылает сигналы, недоступные многим другим людям. Я не хочу сказать, что ты принадлежишь к сонму избранных, но твоя судьба не безнадежна.» Во время этого монолога, дядя Жора упоминал многих известных ученых, писателей, полководцев, судьба которых была связана с влиянием планет. Там был Аристотель, Коперник, Ньютон, Галилей и даже Гитлер. Я спросил у него: «Дядя Жора, а Сталин относится к этому сонму? Ведь он победил Гитлера!». Дядя долго смотрел на меня, потом укоризненно покачал головой, встал и молча ушел.

Но этот его монолог зародил во мне симпатию и интерес к Луне. После беседы с дядей Жорой я стал наблюдать за влиянием этого светила на мою жизнь. Мне нравилось смотреть на нее в разное время, любоваться ее отражением в воде, наблюдать, как меняется ее странный люминесцентный цвет. Мне казалось, что это какое-то живое существо, а не планета, и мы обмениваемся с ней некими сигналами, и она своим завораживающим мерцающим светом что-то хочет донести до меня. Помню, как на Камчатке в Тиличихах летом 1969 года я вышел ночью из дома посмотреть, что за красный круглый фонарь светит в мое окно. Это оказалась Луна. Она была громадная, как-то пульсировала, и ее красный цвет казался неким кровавым

оком, в чью глубину хотелось заглянуть; рассмотреть, что там на заднем плане, да и вообще, что это такое струится и переливается. Наутро по радио я услышал, что американцы высадились на Луну. Это известие меня очень возбудило и взволновало. Недаром у нее такой красный, тревожный цвет, может она сообщает нам о неких нарушениях в окружающем мире, может, жалуется на бесцеремонное вторжение этих наглых американцев. Я не находил себе места, испытывал примерно такое же беспокойство, как герой стихотворения Маяковского «Послушайте», с той лишь разницей, что там герой переживал за звезды, а я за Луну.

В течении дня я всем знакомым и встречным рассказывал, какая была луна после высадки американцев и очень удивлялся, что никого это не беспокоит, и мое наблюдение никому не интересно. Тогда я еще не знал, что в северных широтах красная луна – это обычное явление, и, следовательно, моя тревога, просто плод большого воображения. Впоследствии мне много раз приходилось видеть красную луну, но такую яркую, большую как в 1969 г. на Камчатке, я никогда не видел. И мне стало казаться, что все-таки луна подавала нам сигналы о том, что в мироздании не все в порядке; и где-то, что-то нарушено, а много лет спустя мы узнали и о той лжи, которую американцы распространили о своей «высадке» на Луну. Вся эта мистика, рассказанная мной – это небольшой эпизод, а вообще-то с луной мы жили дружно. Немного неприятно было то, что в полнолуние мне гарантирована бессонница, но потом я смирился с этим.

Я заметил, что самые интересные мысли, планы появляются, когда Луна на небе, и, если не спится, можно почитать, порисовать, подумать о прожитом дне, да и вообще о жизни. Вот так и сейчас, с божьей помощью я начинаю свое повествование.

P.S. И вспоминая эту ночь на Камчатке, я иногда думаю: а может быть это проявление некоего Высшего Разума, который напоминает нам, что прекрасный, гармоничный мир, созданный по божественному помыслу, не терпит нарушения своего мироустройства и конечно лжи.

Меня отправляют в Баку

Взял я чистый лист бумаги, ручку и думаю, с чего начать? Решил начать с самого раннего сознательного впечатления, которое я помнил. Мне тогда было 6 лет, я только что вернулся домой в Баку, после почти двухмесячного путешествия, богатого разными событиями. А вспомнил я эпизод, который относился к трехлетнему возрасту. Я видел его так ярко в цвете, современный человек сказал бы как на экране телевизора или на цветной фотографии. Но в то время, о котором я рассказываю, таких понятий не было и правильнее будет сказать: цветная картинка в моей голове. Вероятно, этому воспоминанию способствовали все предыдущие события, происходившие со мной за последние 3 года, и поэтому я хочу рассказать о том, что предшествовало моему прибытию в Баку, немного подробнее, а потом уже о самом воспоминании. Начиная с разумных школьных лет, да и потом в зрелом возрасте, беседуя с друзьями, мы часто рассказывали друг другу о различных случаях, происходивших с нами в нашем детстве. Как-то так выяснилось, что мои воспоминания, относящиеся к возрасту до 6 лет моими слушателями, не воспринимаются серьезно, поскольку, по их мнению, в это время ребенок открывает мир, каждый день несет что-то новое, одно событие сменяет другое – ребенок учится, развивается и поэтому события не запоминаются. Что ж, может быть, это у кого-то и так.

Для меня же время с 1941 по 1944 было не богато на события и впечатления. Оно тянулось тягуче, медленно. Все было пропитано войной: распорядок дня, разговоры, светомаскировки, бомбежки, сам воздух. У нас была своя детская компания. Это дети из нашего дома, с нашей улицы, человек 10-15. Одна девочка, самая старшая, читала нам книги, еще мы раскрашивали черно-белые печатные иллюстрации, играли в прятки и лазили по деревьям, бегали наперегонки, зимой с окрестных горок катались на санках.

И после бомбежек собирали осколки. Это такие маленькие рваные кусочки металла, может от бомб, может от осветительных ракет (бомбили обычно ночью)

Жил я тогда в Горьком, по ул. Семашко. Спустя 15-20 лет – это время вспоминалось мне как затянувшаяся ночь или зима. Теперь о том, как я оказался в Горьком. Мать моя, урожденная Макушкина Анна была родом из Н. Новгорода, после окончания рабфака в 34 году отправилась поднимать индустрию Азербайджана, где вышла замуж, в результате чего я и родился в 1938 г. В начале лета 1941г. мои родители отправились в Горький к родственникам, взяли меня с собой. Началась война, мать с отцом уехали в Баку, меня оставили с маминной сестрой, у которой детей не было. В народе считали, что война закончится быстро, в несколько недель и ребенку будет безопаснее находиться в Горьком, т.к. Гитлер рвется на Кавказ, к бакинской нефти, и основные бои будут там, а когда война закончится Лида (мамина сестра) приедет в Баку погостить и привезет меня. Но судьба распорядилась по-другому – началась моя горьковская жизнь, продлившаяся три года. Об этой жизни я расскажу как-нибудь, а пока вернемся к событиям, которые предшествовали моей поездке обратно из Горького в Баку.

Когда немцев отбросили от Сталинграда, стало налаживаться железнодорожное сообщение, появилась возможность отправить меня к родителям. Тетушка стала готовить меня в дорогу. Старшая девочка из нашей компании (ее звали Аида) рассказала мне, что Баку – это город, где добывают нефть, бензин и керосин, показывала картинки из какой-то книжки, где были нарисованы высокие дома среди нефтяных вышек, были там еще верблюды, ослики с длинными ушами, и горцы с кинжалами за поясом. Остальные ребята тоже делились со мной познаниями об этом городе. Например, реки там керосиновые, воду добывают из морской воды, кругом песок, трава не растет и т.д. Слух обо мне прошел по всей улице; подходили незнакомые мальчики, и девочки с просьбой показать, кого здесь в Баку отправляют. Все меня жалели, качали головами, выражали всяческое сочувствие. Я стал бояться этой поездки, мне не хотелось никуда ехать. За время моего пребывания в Горьком я совсем забыл родителей, я их не помнил – какие они; не помнил, как меня сюда привезли, как мы расставались. Семья моя нынешняя – это бабушка с дедушкой и тетушка, которую я звал Лидой. Лида мне сказала, что меня отправляют к маме. Я устроил истерику, просил пусть мама лучше сюда приедет – будем жить все вместе. Тетушка перед поездкой мне рассказала, что отец мой погиб на фронте в Крыму в 1942 г. Спустя много лет я нашел письма матушки к Лиде, где они обсуждали, стоит ли говорить ребенку, что у него нет больше отца, и решили, что надо говорить правду. Тогда все женщины, кому приходили похоронки с фронта, надеялись, что произошла ошибка и ждали своих близких. Ждали до конца войны, ждали и много лет после победы. Так и мать моя ждала, надеялась, вновь замуж так и не вышла.

Теперь о моей поездке, учась в младших классах, живя в послевоенном Баку, я часто рассказывал своим сверстникам и их родителям об этом путешествии. Мне задавали много вопросов, на которые я не знал ответов. Например, сколько стоил билет на поезд, детей без родителей в поезд не пускают и самое главное: как ты в детсадовском возрасте во время войны смог проехать один такое расстояние в тысячи километров от Горького до Баку. А некоторые родители моих одноклассников, которые слушали в пол уха про мои приключения стали запрещать своим отпрыскам со мной общаться, дескать, беспризорник, с малых лет всю войну по поездкам скитался. Я часто переадресовывал вопросы маме и Лиде, в свою очередь, рассказывая им о разных случаях и впечатлениях во время поездки. Я узнал много новых подробностей о людях, которые меня сопровождали, о связи по телеграфу, не узнал только о ценах на ж/д билеты. Похоже, их тогда не было. Таким образом, у меня складывалась четкая картинка моего «одиночного плавания». Вот как это было. Сначала из Баку приходит копия моей метрики, справка о гибели отца. Потом тетушка Лида ходит по инстанциям, получает разные справки. Мама мне как-то показала справку на выцветшей желтой бумаге, всю потрёпанную на сгибах. Наверху синяя печать, во всю строку в рамочке надпись большими буквами НКВД на ж/д транспорте,

маленькая звездочка. Содержание такое: мальчик Виталик (имя, адрес) отправляется к своей маме по месту жительства в г. Баку (адрес), провожатый такой-то, просьба или требование (не помню) к комендантам вокзалов, поездов обеспечить доставку, содействие и т.д. Подпись. Печать круглая.

После завершения всех бумажных формальностей мое перемещение из пункта А в пункт Б выглядит так: некая женщина едет до станции Н, сопровождает меня до своего пункта, потом передает меня как эстафету под руководством и контролем коменданта женщине, следующей до станции в направлении Баку и т.д. Железнодорожное сообщение во время войны, было нарушено: не было ни расписаний, ни прямых поездов. В итоге моя поездка до Баку заняла больше двух месяцев. Я хорошо запомнил мою первую провожатую, она была похожа на учительницу (в моем детском представлении), ехала она без ребенка, и все ее внимание было направлено на меня. Я ее немного побаивался, она очень докучала мне своими требованиями и нравоучениями.

Ехали мы в товарном вагоне, его еще называют теплушкой. Посередине была раздвижная широкая дверь, которую правильнее назвать воротами. Когда поезд двигался медленно, эта дверь была открыта, выход загороживала поперечная доска. В открытую дверь залетала копоть от паровоза, и кто находился возле этой двери, были с чумазыми физиономиями. Вагон наш назывался «женским», почти все женщины были с маленькими детьми, на полу лежали матрацы, набитые сеном. Стояло несколько больших чанов с крышками, куда справляли нужду. Часто поезд останавливался в чистом поле, на этих стоянках выливали чаны, набивали сеном матрацы, собирали цветы. Воду набирали на станциях. По мере приближению к югу, станции становились более оживленные, народ менял или продавал всякую снедь, овощи, фрукты, молоко. Первая половина поездки у меня не отложилась в памяти, так скользкие впечатления – мелькнули и тут же забыты. Я не помнил, что я ел, что делал, о чем беседовали окружающие. В памяти остался такой эпизод: стоит возле открытого вагона какое-то черное сооружение с трубой и большим черпаком, с него раздают кашу. Всю эту часть поездки, я находился в какой-то прострации, очень переживал расставание со своей новой семьей, со сверстниками. Тетушка мне потом рассказывала, что я плакал, пытался убежать, кричал, что никуда не поеду.

Но всему наступает свой черед и так, по принуждению, я оказался в этом вагоне, провожатая крепко держала меня за руку, путешествие началось..... Долго я дичился, как пленный зверек, но новые впечатления и события растопили детскую душу, я стал интересоваться окружающим, на станциях женщины брали меня с собой за водой, и так я со своим маленьким бидончиком вписался в дорожную жизнь. Если в начале поездки в вагоне царила какая-то неустроенность, то буквально через несколько дней внешний вид вагона сильно изменился, да и быт стал налаживаться – все нашли себе место и стали его благоустраивать. Откуда-то появились скамейки, ящики, которые служили столами. Матрацы на день многие убирали, складывали в такую интересную кучу, похожие на маленькие горки, шалаши, просто домики, где можно было лазить и играть.

Формировались небольшие группы, объединенные какими-то интересами. Они вместе обедали, пили чай из принесенного кипятка, судачили о житье, бытье, занимались с детьми, и много-много беседовали о жизни. Люди собрались здесь разные, война перевернула их жизни, раскидала их по полям и весям, но у них у всех была одна цель, доехать, где им будет лучше, где их ждут и любят. Я столько наслушался всего из их бесед, что голова моя пошла кругом от всей этой новой информации, которая с трудом воспринималась детским разумом. В ходу были разговоры, что из людей варят мыло, а из человеческой кожи делают перчатки и абажуры. Вероятно, тогда уже ходили слухи о фашистских концлагерях, но официальной информации об этом не было. Я пытался прояснить хоть что-то у окружающих, но мои вопросы, как бы растворяясь, были сведены на нет тактичными ответами моих собеседников. Скорей всего, мои попутчики понимали, что не надо травмировать детскую психику, и разговоры об этих жутких

слухах прекратились. Впоследствии мне мама рассказывала, что в этом вагоне со мной ехали люди, возвращающиеся на родину из эвакуации. Там были учителя, музыканты, преподаватели многих поволжских институтов, была одна немка – известный ученый.

Это немку в начале войны выселили из Саратова в Среднюю Азию, и теперь, когда на фронтах стало полегче, ее пригласили обратно преподавать в каком-то институте. И вот этот пестрый народ, который называли «беженцами» на данном этапе формировал мое развитие, мое будущее сознание и культуру. Они рассказывали сказки, читали книги Короленко, Пушкина, Ушинского и иногда, по настроению, пели песни. Если это было на остановках в поле или на станции, к ним собиралось много народа послушать. Особенно хорошо у них получалась вот эта модная и очень популярная тогда песня:

22 июня. Ровно в четыре часа
Киев бомбили.
Нам объявили,
Что началась война.
Кончилось мирное время
Нам расставаться пора.
Что б ни случилось, ты не забудешь
Ласковых радостных встреч.

Я начал описывать свой вагон, но отвлекся на людей, которые в нем жили. Вагон мне казался теперь намного веселее и приятнее, чем, когда я вошел в него первый раз. На стенке кое-где пристроили два плаката. 1-й: «Родина – мать зовет!» – женщина с поднятой книгой, кажется там присяга. И 2-й: мальчуган с испуганными глазами, его обнимает и защищает женщина. Подпись «Папа – убей немца!» Потом появился и третий плакат. Какая – то блондинистая красотка с разинутым ртом, полным белоснежных зубов, что-то поет. Скорее всего американская звезда, попавшая к нам на довесок к «ленд лизу». Этот американский плакат был как бы центром нашего вагона. Народ жил бедно, плохо одет, женщины в грубых сапогах, в телогрейках, никакой тебе косметики, ни духов, а тут такая красота. Плакат висел напротив раздвинутой двери и на остановках его приходили рассматривать много народа. Все долго смотрели на него, как на «Мону Лизу», в музее и обменивались впечатлениями. Вот такой мир окружал меня тогда. Добавьте к этому два громадных букета из полевых цветов в разных концах вагона, развешенные пеленки, и вот вам картина моего обитания. Мне часто снились мои попутчики и почти со всеми связано что-то хорошее: конечно были и трудности, непонимание, обиды, но всегда с чьей-то помощью все разрешалось благополучно. Иногда я думаю, что и выжил – то я благодаря тем людям, которые меня окружали тогда.

Однако я отвлекся... Где-то после Сталинграда, когда у меня сменилось 5-ая, или 6-ая нянька (назову их так) я вышел один погулять на станции. Обычно со мной ходили мои провожатые, да еще за руку держали. На этой станции было много народа, из громкоговорителей звучала музыка, что бывало не часто, потому что обычно слышны были только объявления, какие-то переговоры. Настроение приподнятое, веселое. Вдруг в толпе произошло какое-то движение, и несколько людей пробежало мимо меня. Один меня задел, чуть не опрокинул, и крикнул «Беги!!!» Я почему-то побежал вместе с ними. Но шестилетнему ребенку трудно состязаться в беге со взрослыми. Группа быстро пробежала мимо, а я остался. Появились какие – то люди в форме. На меня показывают пальцами и слышу: «Вот он!» Меня взяли крепко за руку и куда-то повели. Я стал реветь. Слышу вокруг голоса – «Беспризорников ловят». Я еще пуще завелся. Из толпы женщины стали кричать: «Он из нашего вагона!» Поднялась суматоха. Женщины пытались отбить меня от моих конвоиров, но не тут-то было. Женщины кричат: «Он едет с сопровождающей, у него есть все документы!». Женщина, которая доставила меня

в Баку, вероятно со слов попутчиков знала об этом происшествии и объясняла это так. Была облава на беспризорников. Их ловили и отправляли в детские дома и приюты. Меня привели в наш вагон, и старшой стал требовать документы. Их не могли найти, и к тому же исчезла моя провожатая. Перепалка длилась долго, весь вагон меня защищал, но старшой был непреклонен, и объяснил, что ничего страшного нет, его отправят в приют, согласно какому-то постановлению. Повели меня опять в служебное помещение, посадили на стул, кто-то ходил, выходил, хлопали двери. Я сидел, ни жив, ни мертв. Вместо Баку, встречи с мамой, приют, или детский дом, да и путешествие мое мне уже нравилось. Для меня это была беда, не хотелось расставаться с нашим родным вагоном, где все ко мне так хорошо относились, заботились, а тут дядька злой, так схватил меня, что до сих пор рука болит. Я сидел и плакал, вокруг люди бегали, кричали, занимались своими хлопотами. Сколько я так просидел, не помню. Потом и плакать устал, уже и слез нет, только икаю и хлюпаю.

Заходят несколько женщин, моих защитниц, с ними начальник (или комендант) и молодая худенькая женщина с младенцем на руках.

У начальника в руках мои справки, он обращается ко мне: «Что нюни распустил! А еще солдат будущий! Получай себе мамку!» А дело было так: моя вожатая пошла к коменданту с бумагами, передать меня следующей попутчице, начальника не было, она оставила документы тем, кто был в помещении, те показали ей сменщицу, и она спокойно уехала. А та женщина с ребенком должна была представиться коменданту, получить мои документы, и отправиться со мной дальше. Коменданта она не нашла и ушла со своим младенцем еще куда-то. Вот так примерно выглядело это недоразумение, которое за всю поездку произошло единственный раз.

В основном передача эстафеты происходило четко. Когда мы отправились в наш вагон, во мне все бурлило от счастья: «Я спасен, меня никуда не отправят, поездка продолжается, сейчас я увижу такие родные, знакомые лица», эмоции переполняли меня, в голове, как эхо звучали слова коменданта: «Получай свою мамку!!!» Где-то вдалеке теплилась надежда, а может это и есть моя мама, может путешествие закончилось, и тут же сомнения, почему никто не говорит об этом. Ребенку хочется верить в сказку, и так мало нужно для счастья. До этого приключения я находился в пути около двух недель, и часто представлял, как я приеду домой, и что это за Баку с керосиновыми реками. Мама представлялась то в образе какой –то царевны из сказки, то в образе строгой женщины с военного плаката. Вот такая сумятица царил в моей голове, пока мы шли к своему вагону.

Я с интересом разглядывал свою новую провожатую. На голове у нее была повязана белая косынка, за спиной находился небольшой вещь-мешок, по прозвищу «сидор», в одной руке она держала узелок, а спереди немислимым образом, на каких-то подвязках помещался грудной ребенок, которого она придерживала другой рукой. Ей помогли подняться в вагон, показали место, и она как – то обстоятельно по-хозяйски стала устраиваться. Она хлопотала, щебетала, не умолкая, что-то спрашивала, кому-то отвечала. Похоже, что вместе с ней в наш вагон, пропахший пеленками, полевыми цветами, сеном, проникло радостное и веселое оживление. Мамка моя могла разговаривать одновременно с двумя и тремя собеседниками, была остра на язык, могла кого-то и отбрить при случае, накричать на своего малыша: «Что орешь? А вот я тебе а-та-та!» Вместе с этим целовала его и сюсюкала: «Ах, ты мой зассанчик!». И все это выглядело очень добро, не обидно.

Эта часть путешествия, проведенная с моей провожатой, запомнилось мне очень ярко. Началось все с обустройства: перемещения всех этих мисок, бидончиков, и прочей утвари. Всему было найдено свое место, гораздо удобнее, чем раньше. В «сидоре» у нее оказались, маленькие, толстенькие лепешки и молоко, которого я давно не видел. Дошла очередь и до меня. С моего места на матрасе, с которого хорошо был виден весь вагон, дверь, ночной фонарь, меня переместили к стенке и при этом без умолку говорила: «мне надо спать с маленьким, кормить его грудью, вставать, когда он обсикается, я тебя буду беспокоить, здесь тебе

будет лучше, я твоя мамка, ты меня должен слушаться, а это твой братик, ты должен его любить, смотри какой он хорошенький и т.д., и т.п.» Я посмотрел на своего братика, увидел сморщенное личико с глазками щелками, и не нашел ничего хорошенького, но мамке своей этого не сказал. Эта моя провожатая мне сразу понравилась, я почувствовал к ней доверие, а потом и любовь.

Живя в Горьком эти три года мне любить, было некого, бабушка с дедушкой были старенькие, им было только до себя. Дедушка и умер при мне, тетушка работала с раннего утра до ночи, кажется, рабочий день был 10 часов (точно не помню). В единственный выходной участвовала в каких – то дежурствах, рейдах, заготовках и т.п. Я любил девочку Аиду с нашего дома, она была старше меня года на четыре, была умная, красивая, много знала (по моим понятиям), читала нам книги, пела песни, но это, скорее всего, было уважение к уму, к знаниям, а не любовь. Когда я доберусь в своем повествовании до своей жизни в Горьком, я расскажу, как закончилась эта любовь. А пока мы с моей мамкой, братишкой, и остальными жителями нашего вагона мчим куда-то вперед. И я остаюсь со своими сомнениями: мама это или не мама. Ехали мы вместе дней 10-15, может больше, в итоге менялись пассажиры, кто-то подсаживался, некоторые уходили. Я заметил, что вновь пришедшие всегда с интересом смотрят на нашу «семейку». «Мамка» с младенцем на руках и сбоку в обнимку с ними мальчишка, который эту девочку называет мамой, а она его сыночком.

Случилось так, что вскорости я заболел, у меня был жар, я с трудом воспринимал окружающих, помню, какие-то люди в белых халатах осматривали меня, что-то говорили. Их голоса невнятным гулом отзывались у меня в голове. Потом я узнал, что меня хотели отправить в медицинский барак, где содержались больные. Моя мамка с соседями отстояли меня. Во время болезни мне снились всякие кошмары: там были медленно летящие самолеты, из них высывались скрюченные страшные руки, они пытались схватить меня, что – то грохотало, в лицо брызгали осколки, я их потом набирал в горсть и хвастался друзьям: «Вот как много я набрал осколков!». И всегда среди этого ужаса я видел свою мамку, она стояла надо мной с младенцем, со скрещенными руками и склоненной головой. Просыпаясь, я не мог вспомнить, видел ли я ее наяву, или она мне снилась. Много лет спустя, увидев иконы с младенцем, а потом и картины Петрова-Водкина с его крестьянскими мадоннами, мне стало казаться, что именно их я видел в своих болезненных снах. Мне многое забылось из той поездки, некоторые события я восстанавливал по рассказам людей, ехавших со мной, но этот эфемерный, мерцающий образ женщины, с вечным младенцем на руках, являющийся мне во время болезни, (то ли во сне, то ли наяву) я запомнил на всю жизнь. Может это ангел посетил меня?

Через несколько дней мне стало лучше. Причем улучшения произошли как-то неожиданно: проснувшись утром, я почувствовал, что ночные кошмары и видения уходят куда-то. Голова была легкая, видел я все очень ясно, на стенке вагона играют солнечные блики, рядом сидит моя мама, гладит меня по голове и говорит ласковые слова. Я попытался встать, ноги подкосились, в голове загудело, я чуть не упал. Слышу голос откуда-то издалека: «Лежи мой слабенький, тебе нельзя вставать, хочешь, я тебя нюшей покормлю?» Она сунула мне грудь под нос, приговаривая «Спи...спи...» Я опять уснул, сон был спокойный, как провалился куда-то, несколько раз просыпался, потом опять засыпал, то ли сон, то ли явь... Рядом со мной лежит мой братик, мама его кормит грудью. Вокруг слышны голоса, осуждающие мою мамку – что это за лоб такой, а ты его грудью кормишь, у самой-то молока не хватает твоему ребенку. Мамка отвечала: «Я понарошку. Он всю ночь не спал, бредил, только с грудью успокоился, он и молока-то не пробовал».

Когда я стал взрослым, набравшись жизненной мудрости, я подметил такую особенность, что часто во время некоего важного события, связанного с большой ответственностью, риском, болезнью и пр. стрессом, вдруг обращаешь внимание на какую-нибудь незначительную мелочь или деталь, и она надолго запоминается. И эти эпизоды, фразы во время моего выздоровления

я надолго запомнил. А пока я просто пытался переварить услышанное – что это за лоб, которого грудью кормят? Маленького сыночка не назовут лбом, а кормят только его, и почему молока не хватит? Потом до меня дошло, что лоб – это про меня, но никто меня никаким молоком не кормил, да и вообще я ничего не помню. Перед тем как снова уснуть, я вспомнил мамкин голос: «Хочешь, я тебя нюшей покормлю?»

Вот так между реальностью и какими-то видениями началось мое выздоровление. Потихоньку стал что-то есть, ходить от стенки до стенки. Я стал плохо спать, часто просыпался ночью, но никогда я не видел свою «маму» спящей, она или кормила малыша, или сразу начинала меня успокаивать, гладить, совала мне грудь и что-то тихо говорила. Когда она спала, одному богу известно. Ее ребенок, мой «братик» был довольно спокойный. Плакал редко, капризничал мало, но, если кто-то из младенцев нашего вагона начинал плакать, он сразу же поддерживал его своим криком. Мамка тут же его успокаивала, давала грудь, а если он продолжал капризничать, совала соску, и обычно он сразу же замолкал. Соска эта была особенная. Мамка пережёвывала ржаной хлеб, эту кашу клала в тряпицу, размером с носовой платок, закручивала, завязывала, получался круглый шарик, который она засовывала в рот ребенку. Когда во время болезни меня мамка успокаивала и усыпляла грудью, она иногда пыталась всунуть мне в рот такую же соску. Но я ее категорически не принимал. В Горьком у нас были в ходу сухари. Когда мы шли гулять, играть на улицу, то почти у всей нашей детской компании в карманах имелись сухари. Кто не доел за обедом, спешил – прихватил с собой, кто просто так брал на всякий случай. Мы угощали друг друга этими сухарями, обменивались ими. Это было своего рода лакомство, заменявшее нам конфеты. И в одно из своих пробуждений во время болезни, я слышал, как мамка жаловалась попутчице: «Представляешь, не ест моченый хлеб!» Я понял, что это про меня. Запомнилась мне и фраза, которая изредка звучала в ее разговоре – «хоть ж...й ешь!» Я долго размышлял над ней, пытался представить, как это возможно и только немного погодя понял, что это характеризует некое изобилие, множество, в основном съедобных продуктов. Поэтому, когда мамка меня потчевала своей соской с моченым хлебом, я как-то раз заявил: «У нас в Горьком сухарей хоть жопой ешь!» Все посмеялись, но потом объяснили мне, что ребенок так не должен говорить. Вот такие курьезные эпизоды запомнились мне надолго.

Запомнилось мне и то, как я открыл вкус материнского молока. Я уже начал выздоравливать; немного ходил по вагону, стал есть, но часто по ночам просыпался от какого-то беспокойства, потом долго не мог заснуть, эта особенность осталась со мной на всю жизнь. Почти всегда я заставал «мамку», сидящую возле меня. Увидев ее, я чувствовал некое успокоение, которое пришло на смену кошмарам, как будто что-то надежное, сильное оберегает и защищает меня. Много лет спустя, осмысливая происходящее, я понял – это любовь. Несмышлёного младенца тянет к матери, он связан с ней невидимыми узами, он ее различает среди других людей, но мы никогда не узнаем, чувствует ли он любовь к ней или их существование происходит на уровне симбиоза. Можно сказать, я побывал в роли грудного младенца, жалкого, беспомощного, брошенного во время войны в житейскую неразбериху. Все эти события, происходящие вокруг, перестали меня волновать; сомнения и надежда моя (мама это или не мама) куда-то делись. Была любовь, которая, возможно и помогла мне выжить. Когда я носом тыкался в ее грудь, я испытывал какое-то усыпляющее чувство, как будто у меня на плече сидит пушистый котенок, мурлыкает, трется мордочкой об меня, а мне так хорошо; спокойно, глазки сами закрываются, и в блаженном состоянии проваливаешься в сон.

И вот однажды почти засыпая, чмокая губами, я ощутил во рту сладкий вкус грудного молока. Надо сказать, живя в Горьком, я и дети, с которыми я общался, не были избалованы сладким, мы вообще сладостей не видели. Единственная сладость, знакомая мне – это кусковой сахар, который кололся щипчиками на маленькие дольки и выдавался к чаю. Так как я чай не любил, то норовил просто отправить его в рот. Ну, еще в нашей компании был мальчик, отец

которого работал на оборонном заводе, так этот мальчик пару раз угощал нас конфетами в бумажной обертке. Когда я Лиде показал эту бумажку, она уважительно произнесла: «Наркомовский паек» Еще была девочка, отец у нее был «завхоз», так вот она иногда приносила банку из-под американской сгущенки, там наверху была маленькая дырочка, размером с монету. Эту банку с помощью плоскогубцев, мы превращали в плоскую жестянку и припасенной ложкой соскабливали с нее остатки, вернее следы сгущенки. Вот такие сладости были известны мне в раннем детстве.

Поэтому, когда я ощутил сладкий вкус грудного молока – это было открытие, я шустрее зашлепал губами, наслаждаясь забытым сладким вкусом. Но кормилица моя неожиданно отняла грудь, сказав, что надо кормить маленького. К этому времени, я почти внушил себе, что это моя мама, и этот ее категоричный жест очень обидел меня. Я стал капризничать, требовать, хочу и все! Меня успокоили и уложили спать. На следующий день мамка мне стала объяснять, что я большой мальчик, уже поправился, а кормят грудью только маленьких и что я не должен у братика молоко, отбирать, без которого он заболит. Да я и сам, поразмыслив, отлучение от сладкого молока пережил относительно спокойно. Нет, так нет. Я знал, что идет война, нам все говорили об этом, да мы уже и сами стали привыкать к этому тяжелому, голодному времени. Чувство голода стало для меня и моих горьковских сверстников обычным состоянием. Потребность к еде притупилась за эти годы, и есть уже особенно не хотелось. Многие женщины с младенцами, ехавшие в нашем вагоне, не кормили своих детей грудью, т.к. у них пропало молоко. Стоит упомянуть, что для беженцев (а нас так и называли) была налажена продуктовая помощь, на некоторых станциях выдавали какие-то пайки, там были и маленькие бутылочки с молоком.

Но чувство обиды на «мамку» где-то в глубине души оставалось: она стала уделять мне меньше внимания, больше заботилась о своем сыночке, часто общалась с женщинами-соседками и все они много рассказывали о своей жизни, о различных житейских проблемах. Мое «Эго» не давало мне покоя. Ведь я так любил свою маму, а она, ... похоже, меня уже не любит.

В связи с этим мне вспомнился эпизод из моей прошлой горьковской жизни: У одного мальчика из нашей компании убили отца на фронте, и мы все часто говорили об этом, сочувствовали ему, и вдруг одна девочка говорит ему: «Это же не твой отец, ведь он ушел из вашей семьи к тете Мане, значит он тебе не отец». Началось бурное обсуждение произошедшего, в котором я не участвовал, т.к. ничего не понял. Я рассказал тете Лиде об этом случае и о том, какое было обсуждение. Тетушка, как могла, объяснила мне, что в жизни бывает, супруги расходятся, находя себе другого мужа или жену, чем еще больше меня запутала. Я знал, что где-то далеко у меня есть папа и мама, а муж и жена – это совсем другое и долго не мог понять, почему в одном случае он муж, а в другом папа, и главное, почему они расходятся и еще, к примеру, если мой папа и мама захотят разойтись, то останутся ли они для меня папой и мамой, а я их сыночком, или же мне тоже придется искать других папу и маму? Так вот, когда мне стало казаться, что моя «мамка» уже не любит меня, в моих несмышлёных мозгах зародилась мысль: «А может она решила со мной развестись? Ведь расходятся же другие люди». И такое недоумение или подозрение тихой мышкой шевелилось где-то в самой глубине сознания, с самой первой встречи с мамкой. Причем ход мыслей был такой. Сначала: «Мама это или не мама?». Потом, когда я ее узнал и полюбил: «Да, это конечно мама, но это другая мама». Потом опять сомнения: «А может моя первая мама ушла от меня, а эта мама другая, с которой мы сошлись?».

Это сейчас, в зрелом возрасте я все анализирую и пытаюсь понять и объяснить все происходящее, а тогда в мчавшемся поезде, одни сомнения, догадки и переживания.

Разговоры женщин, звучавшие вокруг, еще больше вносили неразбериху в мое понимание происходящего. Такие слова о семейных отношениях мне уже немного объяснили в Горьком. «Ушел к другой!», «Ушла к другому», «Развод». «Сошлись», «Разошлись». Было еще

много непонятных слов, звучавших вокруг, значение которых я понял только много лет спустя. В Горьком в нашей компании я был самым младшим, и поэтому, когда мне что-то было непонятно, я обращался к окружающим, и они как могли, объясняли мне, что непонятно. Здесь же, когда женщины рядом со мной, беседовали о своих интимных проблемах, а я вмешивался в их разговор и просил объяснить мне непонятные слова, то чувствовал некоторую неловкость с их стороны и нежелание отвечать. Нет, они отвечали, но эти ответы звучали как-то неубедительно. Поэтому я больше не приставал к ним с вопросами, а просто наблюдал, слушал и пытался сам разобраться. Каши в моей голове становилось все больше и больше.

Была в моем багаже очень ценная для меня вещь – это был медвежонок Тедди. Лида подарила мне этого медвежонка на день рождения. Он сразу стал для меня любимым, почти живым существом. Глазки у него были как живые, казалось, что он может смотреть ими по сторонам, мех был такой пушистый и мягкий, на лапах были коготки, совсем не царапучие, на шее на цепочке висела круглая зеленая медаль, где по-английски было написано «Teddy». Медвежонок купили еще до войны в «Торгсине». Это такой магазин, расшифровывается, как «Торговля с иностранцами». Платили там золотом, драгоценностями и т.п. изделиями. Когда я появился с ним на улице – это было событие, особенно в восторге были девочки; все просили дать его подержать, обнять его, потрясти и послушать, как после этого у него в груди бьется сердце. С этим медвежонком я ощутил свою значимость, если девчонки собирались играть в «домики», они кричали: «Виталик, выходи играть вместе с Тедди». Но вскоре Лида запретила мне выходить с ним на улицу, т.к. медвежонок надо беречь, а его сильно испачкали и затрепали. Когда меня отправляли в Баку, было много сомнений; давать ли мне с собой Тедди, боялись, что в дороге украдут такую дорогую вещь. Но так как я категорически отказывался ехать, то уговорили меня, дав с собой медвежонка.

За время болезни я ни разу не вспомнил про медвежонка. Я вообще плохо представлял кто я, где нахожусь, что за люди вокруг. Кроме самолетов со страшными длинными руками, которые атаковали меня во сне, мне часто снилось, как я выбираюсь из каких-то корней, которые шевелились, как живые, окружали меня со всех сторон, опутывали мне руки и ноги, а вокруг не было ни просвета, ни выхода. Где – то звучал голос: «Мальчик, как тебя зовут?», но я не мог ответить, т.к. вся эта липкая, корявая паутина, как живые веревки, окружала меня со всех сторон, лезла в рот, в глаза и я барахтался в ней, как пойманная муха. Сон и явь перепутались. Иногда мне казалось, что я вижу свою «мамку» во сне, а в реальности весь наш вагон опутан какими-то щупальцами. Однажды, когда болезнь немного отступила, а сознание и ощущение реальности стало медленно возвращаться ко мне, пробудившись утром, я увидел, что моя мамка держит передо мной Тедди, вертит им, двигает лапами, и что-то тихо говорит медвежонкиным голосом. Увидев яркого, веселого друга Тедди, такого родного, после всех этих ночных кошмаров, я ощутил такой всплеск радости, внутри все затрепетало от счастья, какая-то еще слабая, но уже ощутимая энергия стала пробуждаться во мне. Я сразу вспомнил всю мою предыдущую жизнь, наш двор, улицу, родных, наши игры с Тедди. Когда я заболел, моя мамка бережно упаковала медвежонка и надежно припрятала. И вот сейчас, когда мне было очень плохо, он появился ниоткуда, такой большой, красивый, добрый, поддержать меня, вытащить из того мутного, бредового состояния, в котором я находился.

С этого дня наша семейка с Тедди не расставалась. Он участвовал во всех наших играх, его тоже кормили, братик тоже полюбил его, тянул ручонки, теребил его, пытался смеяться и что-то бормотал. В повествовании о своем путешествии я отвлекся, стал рассказывать о своем тогдашнем друге и попутчике медвежонке Тедди. Поэтому возвращаюсь к перерыву в своем рассказе. Остановился я на том, что беседы женщин с «мамкой» слышимые мной, наполнили мою голову ворохом разной непонятной информации. Кроме того, мне показалось, что от меня что-то скрывают или прячут. Много лет спустя, вспоминая об этом, ситуация стала для меня

простой и ясной: поезд приближался к той станции, где выходит моя мамка, и женщины, скорее всего, обсуждали затянувшуюся игру в мамку-сыночка. А тогда... Никто, ничего мне не объяснял; я чувствовал некое напряжение вокруг, а внутри росла и росла тревога, ожидание чего-то неприятного. И вот однажды утром, проснувшись, я увидел, что мамка перебирает вещи, что-то вытряхивает, что-то завязывает в узелок, словом, идут какие-то сборы. Сознание пронзила мысль: «Уходит от меня». И тут же другая: «А может быть, мы уже приехали?». Я тоже стал собирать свой нехитрый скарб: медвежонка, маленький бидончик, полотенце, карандаши и прочую мелочь. Вдруг неожиданно наступила тишина. Я поднял голову: окружающие молча смотрели на меня, а мамка сидела ко мне спиной и ее плечи судорожно подрагивали. Я услышал громкие всхлипывания и, понял, что она плачет. Заплакал мой братик, все зашевелились; после тишины, когда было слышно, как от сквозняка трепещет уголок плаката на стене, вдруг все звуки слились в моей голове в немыслимую какофонию.

Вагон жил своей жизнью: слышны крики, плач, что-то разбили, кого-то успокаивали, каждый занят своими заботами и потребностями. И только я не понимаю, что происходит и что со мной будет дальше. Мама обняла меня, стала гладить по голове и сквозь всхлипывания стала говорить: «Виталик, комендант назначил меня твоей мамой, чтобы я помогла тебе доехать до Баку, где тебя ждет мама. Мы завтра приезжаем на мою станцию N, где мы с моим сыночком выходим, но вместо меня придет другая женщина, она тебя повезет дальше». После такого сообщения я вообще потерял всякую ориентацию в жизни. Одна мама, другая мама, «сходятся», «расходятся», а тут еще оказывается, коменданты мам назначают.

Женщина, которая доставила меня в Баку, много рассказывала нам о подробностях нашей поездки. Вот как это выглядело в ее описании. Я устроил истерику, кричал, что маму свою не брошу, выйду вместе с ней и ребенком, я понимаю, что она решила со мной развестись, но я ее люблю и останусь с ней. Собирал свои вещи, плакал, отказался есть, кричал, что у меня в жизни, кроме нее, никого нет. Успокоили меня только к вечеру, с помощью какой-то таблетки.

А для меня расставание с мамой выглядело так... Просыпаюсь утром, около меня никого нет, вагон мне показался совсем пустой и тихий. Пытаюсь вспомнить, что было накануне, где-то теплится надежда, что это мне приснилось. Опять задремал; так несколько раз просыпаясь, пытался отогнать от себя вчерашние воспоминания. Не получается... И наконец, в одно из пробуждений, я понял, что я остался один, совсем один. И в зрелом возрасте, перечитывая роман Хемингуэя «Иметь и не иметь» дойдя до фразы героя «Человек не может быть один», я часто вспоминал этот вагон своего детства и ту тоску, и безысходность, которая навалилась тогда на меня. Никаких мыслей, эмоций, полное безразличие ко всему окружающему. Но живой человек существует в развитии. Потосковав и погрузив, я снова уснул.

Так проваливаясь в забытие и возрождаясь, в одно из пробуждений, я увидел перед собой мальчишку, который играл с Тедди. Играл – это мягко сказано. Он терзал его, тянул за уши, трепал, пытался оторвать хвост. К такому отношению Тедди не привык. Все, кто с ним играли, ласкали его, разговаривали, слушали его сердце, а этот болван даже не пытался понять и услышать, что у Тедди, если его встряхнуть, бьется сердце. К тому же, Тедди, единственная ниточка, память, связывающая меня с потерей моей семьи. Надо срочно выручать Тедди. Кое-как поднявшись, я вытянул вперед руки и бросился на мальчишку. Я за что-то запнулся, но при падении успел схватить медвежонка сначала одной, а потом и другой рукой. Мы оба упали: в вагоне было довольно тесно, надо было передвигаться осторожно – между ящиками, лавками и прутьями. Мы оба запутались в этих нагромождениях, а когда выкарабкались, я попытался сесть и увидел напротив лицо моего противника с вытаращенными безумными глазами.

Из носа у него сочилась тоненькая струйка крови; она все прибывала и ширилась, заливала ему рот, а он обеими руками размазывал кровь по всему лицу. Одновременно с этим раздавался тонкий визг, переходящий в плач, который становился все громче и громче. К этому

визгу и плачу присоединился громкий женский голос. Высокая, какая – то костлявая женщина выросла над нами; она схватила меня за ухо так, как будто хотела оторвать его. При этом поносила меня всякими плохими словами, среди которых «хулиган» и «шпана» были не самыми злыми и обидными. Всполошился весь вагон, все приняло участие в трактовке и обсуждении происходящего. Я сидел молча, прижав Тедди; вот оно одиночество, весь мир вокруг ополчился против меня, никто меня не понимает, я ничего никому не могу объяснить. Я никого не бил, я в жизни никогда не дрался. Я изо всей силы сдерживался, чтобы не зареветь.

Надо сказать, что к этому времени население вагона несколько уменьшилось, многие мои знакомые попутчики покинули вагон, появилось много незнакомых лиц. Эта женщина, которая трепала меня за ухо, оказалась матерью мальчика, с которым у меня произошла стычка, да и к тому же моей новой сопровождающей. Она грозилась сдать меня в колонию, документы мои выбросить, грозилась комендантом и милицией. Но на мое счастье осталось несколько женщин, едущих со мной давно, и одна из них спокойно объяснила моей новой сопровождающей суть дела: «Ваш мальчик взял чужую игрушку у ребенка, который ею очень дорожит, и он не играл, а трепал его, бил головой об пол, поэтому мальчик Виталик отобрал свою игрушку у него. Никто никого не бил, они оба упали, и мальчик Виталик попал головой ему в нос, после чего у вашего мальчика началась истерика со слезами. Вы посмотрите на маленького, слабенького мальчика и сравните его со своим сыном, разве он мог избить его, как вы считаете?» И еще ваша обязанность доставить ребенка до вашей станции и передать его с документами следующей провожатой. Если вы этого не сделаете, вам не вернут ваши документы!».

После такого четкого объяснения, гнев моей новой провожатой приутих. Она отпустила мое ухо и стала хлопотать возле своего сыночка, который продолжал громко плакать и стонать. Шишка на моей голове, которую я получил, столкнувшись с носом мальчика, сильно болела, что-то в ней пульсировало и толкалось. Женщины мне обработали ранку, приложили холодную мокрую тряпку и велели сидеть спокойно, не вставать и не двигаться.

Я сидел и внимательно изучал своего противника: он был старше меня на несколько лет, выше и покрупнее. Время от времени он хлопал и судорожно дергался. В моей предыдущей горьковской жизни, такой молодец был бы для меня авторитетом; мы уважали старших, обращались к ним с разными вопросами и нередко за помощью. А тут, сидит такой лоб, плачет, размазывает слезы и сопли, а мама его успокаивает, как маленького. В нашей детской компании не принято было плакать, хотя ранения и травмы мы получали часто.

Мы носились по улице между площадью Свободы и Ковалихой, эта часть улицы была вымощена булыжником и у всех нас, включая девчонок, колени, локти, лбы были в ссадинах, царапинах и шишках. И если ты получал травму, никто никогда не плакал, сообща останавливали кровь, обрабатывали ранку, мазали ее йодом, а уж кровь из носа пережил каждый: разбивали носы о заборы, тыкались им в булыжник, среди ран – эта считалась самой пустяковой, зимой прикладывали снег и лед, летом раненого устраивали на травке в маленьком садике возле дома, задрав ему голову назад. Обычно, через несколько минут кровь останавливалась, кто-нибудь говорил: «До свадьбы заживет!», жизнь продолжается, можно снова бегать и играть.

Вероятно, это война приучила нас к аскетизму и терпеливости. . . Боль мы все умели терпеть и не плакать. У читателя может сложиться впечатление, что я изображаю своих друзей детства этакими спартанцами, малолетними спецназовцами, со стиснутыми зубами. Конечно, это не так. Наши волевые установки, скорее были «кредо», но не всегда реальные поступки. Всякое бывало: и плакали, и кто-то крови боялся, у кого-то нос слабый был, иной по деревьям боялся высоко лазить и т.д., и т.п. Но мы все как-то чувствовали, что не надо показывать страх, не надо плакать и чего – то бояться. Плач допускался только от большой обиды, или, когда происходит какая-то несправедливость, а ты ничего с этим поделать не можешь; ни доказать

свою правоту, ни воспрепятствовать чему-то нехорошему, недоброму. Ну, разве еще смерть близких.

Я сидел с мокрой тряпкой на голове и под затихающие вопли моего обидчика вспоминал все это. Женщина, которая выручила меня своей разумной речью, покормила меня, потом мне сменили тряпку на голове, дали таблетку и велели сидеть прямо, подложив что-то под голову. Я сидел, разглядывая новых людей, появившихся в вагоне: очертания предметов и людей, стали расплываться, покрываться туманом, принимать какие-то странные очертания. Я вспоминал день, который начался для меня с осознания своего одиночества, и страшной, смертельной тоски, затем битву за Тедди, потом страх, который я испытал, когда злая тетка грозилась отправить меня в колонию, как малолетнего преступника. Вместе с этими грустными воспоминаниями со дна души стало подниматься радостное ощущение; я понял, что я не один, со мной друг Тедди, женщина, которая меня спасла, другие люди, находящиеся со мной рядом. Женщина, трепавшая меня за ухо, уже не казалась такой противной, а сынок ее, большой и сильный, казался мне жалким и ничтожным, а вовсе не страшным, как показался вначале. У нас в Горьком, такого плаксу не приняли бы в свою компанию. С такими радостными мыслями, что я не один, я не одинок – у меня есть друзья, я провалился в сон.

Много лет спустя, я подумал, а может быть эта моя радость была от действия таблеток, которые применялись тогда в армии, разведке и могли быть в нашей вагонной аптечке? А еще много лет спустя, вспоминая эти события и вдруг неожиданно свалившуюся на меня радость, мне подумалось, что это может быть «Синдром победителя», когда человек, находящийся на грани гибели, поражения, неудачи, вдруг находит в себе силы превозмочь самые тяжелые испытания, и в конечном счете, победить – испытывает неопишемую радость и состояние, близкое к эйфории. Но как бы то ни было, стрессовая ситуация помогла мне избавиться от гнетущего страшного чувства одиночества и тоски, обрушившихся на меня после расставания с мамкой.

Проснувшись на следующий день я стал внимательно изучать изменившуюся обстановку в вагоне и новых пассажиров. Было шумно, плакали и галдели дети, слышна была не русская речь. Русские области заканчивались, вероятно, мы приближались к Закавказью, Дагестану. Из старых попутчиков осталось несколько женщин, одна из которых защитила меня. На меня никто не обращал внимания. Я сидел и озирался, вагон тот же, те же плакаты на стене, но что-то неуловимо изменилось. Наши женщины покормили меня, обработали ранку на голове и стали заниматься своими хлопотами. Моя новая провожатая не обращала на меня внимания. С этой провожатой мы ехали вместе дня 3-4, и все это время я чувствовал, как она демонстративно меня игнорирует.

Вспоминая много лет спустя, эту свою провожатую, я размышлял, а если бы не было неприятного инцидента с ее сыночком, она бы тоже так себя вела? В жизни мне встречалось много хороших людей, которые на всю жизнь оставили о себе добрую память, но были и такие, с которыми было трудно находиться под одной крышей. Вероятно, с этой моей провожатой, именно такой случай. Когда я узнал о неизвестном мне ранее понятии, как психологическая несовместимость, эти вопросы перестали меня волновать. Поездка с этой теткой показалась мне самой тяжелой: не с кем поговорить, никто тобой не интересуется, не расспрашивает, как бывало раньше, не читает книжки из нашей библиотечки, не играет с «Тедди». Шефство надо мной взяла та женщина, которая вступилась за меня. Она забрала какие-то мои бумаги у злой тетки и вероятно, деньги в присутствии коменданта поезда, и по возможности старалась уделять мне какое-то внимание.

Кроме того, я почувствовал, что многие вновь прибывшие женщины, как мне показалось, относились ко мне с каким-то пренебрежением, я бы сказал, с издевкой. В одну из ночей, когда проснувшись, я долго не мог уснуть, я услышал разговор двух женщин. Из того, что я слышал, были такие фразы «Представляешь (тихий смех) тут такая любовь была... Кричал, что

без нее не может жить (тихий смех) выпрыгивал из поезда, орал... Лицо все в кровь разбил... такой маленький, а такой звереныш».

И в ответ «Даааа, и не подумаешь, в чем душа только держится». Я понял, что это говорят обо мне. Я лежал, стиснув зубы от обиды, сдерживаясь, чтобы не заплакать, шептал про себя «Все не так, все не так! Почему они этого не понимают?». Но всему на свете приходит конец. Убралась и моя провожатая с сыночком.

Пришла новая женщина, которая доставила меня в Баку. Она сразу стала меня обо всем расспрашивать, доложила, что она отправила маме телеграмму о нашем скором приезде. В то время, о котором я рассказываю, я естественно, не мог читать и писать, наверное, я не мог и считать, поэтому, когда я говорю о времени – надо понимать это очень условно. Например, наш скорый приезд, о котором сообщала моя новая провожатая, растянулся на неделю, может чуть поменьше. Много лет спустя, во взрослой жизни, как-то на вокзале в ожидании поезда, томясь от скуки, вспоминая эту поездку моего детства, я мысленно разделил ее на три части или этапа. 1-й это когда меня выхватили из моей привычной, размеренной жизни и поместили в совершенно чуждую среду, где мне пришлось заново учиться жить и приживаться, как растению, пересаженному из горшка в естественную почву. 2-я часть – это когда я ощутил себя частью общества. Население вагона представлялось мне большой семьей, где все очень дружно общались, помогали друг другу, занимались с детьми, читали им книги. Эта часть поездки осталась для меня очень приятным воспоминанием. И наконец, 3-я часть – после расставания с мамкой и конфликта со злой теткой, что-то переменялось в самом вагоне: людей стало меньше, но шума больше, бабы собрались какие-то горластые, многие не понимали русский язык, говорили плохо, часто объяснялись жестами и мимикой! Если во 2-ую часть поездки, я общался со всеми жителями нашего вагона, чему-то учился у них, узнавал много нового, то теперь, особенно после услышанных ночью обрывков разговора обо мне, сидел больше на своем месте, наблюдал, слушал; но не пытался, как раньше, вступать в беседы, о чем-то спрашивать окружающих.

Валентина Григорьевна – так звали мою новую провожатую, пыталась растормошить меня, отвлекала, разговаривали, играла вместе со мной, но услышанное слово «звереныш», острой занозой засело в моей голове. Так меня ни в Горьком, ни в моем вагоне никто никогда не называл. Все относились ко мне по-доброму, многие беженцы при появлении в вагоне и дальнейшем знакомстве с попутчиками, жалели меня, и говорили: «Какой серьезный мальчик, едет один без мамы» Расспрашивали меня о прошлой жизни, о моих покинутых друзьях. И вот после таких доброжелательных отношений, вдруг «звереныш». Обида душила меня, я впервые почувствовал, что меня коснулось неопонятное зло, безо всякой причины, без повода с моей стороны. А пока я сидел в своем углу, насупившись, обидевшись на весь окружающий меня мир; поезд, тем не менее; то медленно, то быстро, то дергаясь и двигаясь в обратную сторону, все-таки приближался к Баку, я почувствовал такую страшную усталость от этого вагона, от всего долгого, однообразного путешествия.

А само прибытие выглядело, вопреки моим ожиданиям, как-то буднично: прибыли на некую товарную станцию, сказали, что это Баку, переселили нас в обычный вагон, с деревянными сиденьями, постояли мы там может быть день, может пол дня, прибыли в наш вагон еще какие-то пассажиры – оказывается мы их ждали. Была какая-то нервозность вокруг, все куда-то бегали, что-то узнавали. Наконец вагон наш тронулся. Сколько мы ехали, я уже не интересовался, смотрел в окно и думал, как хорошо сидеть у окна, и смотреть на пробегающий за окном пейзаж, рассматривать людей, животных, всякие постройки, паровозы. Потом задремал. Проснулся; кто-то меня теребит за плечо. «Вставай, приехали!». Слышу голоса: «Баку. Сабунчинский вокзал». Вот и закончилось мое путешествие...

Баку... Впечатления... Воспоминания...

Мы идем по перрону в сторону вокзала, одной рукой прижимаю свой багаж, другой рукой держусь за Валентину Григорьевну. Она спрашивает встречных людей, мы меняем направление, оказываемся в какой-то толчее, выбираемся, поворачиваем назад и наконец, после всех этих блужданий оказываемся на большой площади. Меня с моим багажом усаживают на скамейку; Валентина Григорьевна уходит куда-то, наказав мне не отлучаться и охранять вещи. Наконец-то я могу осмотреться. После темного, довольно тесного вагона, где я находился последние два месяца – широта, простор, очень странная, невиданная мною жизнь.

Вокруг меня носятся трамваи, грузовики, много людей мельтешит туда-сюда, слышна непонятная гортанная речь, кричат продавцы у своих лотков с фруктами, цветами, пирожками. Ходят военные патрули с красными повязками на рукавах, амбалы, как муравьи, таскающие грузы огромной величины; когда я дойду до описания своей жизни в послевоенном Баку, я расскажу об этой профессии амбала подробнее. Еще очень любопытное и интересное, на что я обратил внимание – это запахи.

Когда я вышел из вагона, меня сразу окружил жаркий, знойный непонятный аромат. Перемешались запахи поездов, цветов, фруктов, жареной снеди, чего-то пряного и непонятного. Впоследствии я узнал, что это примешивался запах нагретого солнцем асфальта. Засмотревшись на что-то интересное, я покинул свою скамейку, и стал наблюдать за людьми, кружащими вокруг меня. Вот патрули кого-то остановили, беседуют; вот мужчина покупает пирожок, сначала ест сам, потом кормит собаку, которая крутится рядом, плачет маленький ребенок, женщина, что-то громко говорит ему, бурно жестикулируя руками у него перед носом. Около меня с визгом останавливается трамвай; вожатый, высунувшись из окна, что-то кричит мне, с другой стороны на меня мчится грузовая машина – я не знаю где моя скамейка, куда мне деваться, как спастись – впечатление такое, что все эти люди, амбалы, трамваи, машины загродили мне путь к спасительной скамейке, и я не могу найти к ней дорогу.

Неожиданно я взмываю куда-то вверх. Затем сильные руки опускают меня на тротуар, я поднимаю глаза и вижу высокого военного, который что-то с улыбкой спрашивает у меня. Я узнаю свою скамейку и наш багаж, потом слышу женский крик: «Виталик!» Я оборачиваюсь и вижу бегущую женщину, машущую руками, которая приближается ко мне. За ней виднеется Валентина Григорьевна. Я понимаю, что бежит моя мама.

Мама подбегает к нам, обнимает меня, целует, и что –то быстро, быстро говорит.

Половину фраз я не понимаю, они не разборчивы. Вот, что я слышу: «Виталик, какой ты большой, как ты вырос, дай посмотрю на тебя, боже мой, какой ты худой! Ведь ты чуть под машину не попал!». Что-то льется по моему лицу, я начинаю вытирать это руками, облизываю губы, и понимаю, что это мамины слезы.

Подходит Валентина Григорьевна, она о чем-то говорит с мамой, о платформах, поездах и прочих непонятных мне вещах. Когда прошла суматошная нервозность встречи, мама поблагодарила военного, который вернул меня на тротуар, попрощалась с Валентиной Григорьевной, и мы одни присели на скамейку, мама обняла меня, прижала к себе и опять заплакала. Я сидел, ничего не понимая, все люди обычно плачут от горя, а тут я нашелся, приехал, под машину не попал, и вдруг опять слезы. В поезде я много думал о встрече с мамой, но все произошло не так, как я представлял. Сначала город оказался не таким, как я его ожидал увидеть – где же вышки, верблюды, песок? Вокруг красивый город, заполненный движением, какой-то бурной интересной жизнью; запахи очень приятные, немного одурманивают и успокаивают, везде асфальт, красивые деревья, цветы. Потом, мама оказалась не такой, как я ее себе представлял. Она была грустная и усталая, и по сравнению с «мамкой» показалась мне очень старой. Было ей тогда 34 года.

Так, размышляя обо всем этом, отвечая на мамины вопросы, я уснул у нее на плече. В моем родном вагоне я привык спать где угодно и как угодно, в любое время суток. Но как бы я

не спал, я всегда слышал, вернее, чувствовал шум вокруг, издаваемый населением вагона; стук посуды, разговоры, плач, крики детей и много, много других звуков. Здесь, когда я задремал у мамы на плече, я ощутил такую отрешённость и успокоение, которого никогда не испытывал раньше; исчезло напряжение последних дней, куда-то ушла усталость, мозг наслаждался наступившей тишиной и даже во сне я понимал, как мне сладко спится, – никакого напряжения и беспокойства. Откуда-то издалека, как сквозь туман, который будто вата окутал меня, доносились тихие посторонние звуки: звоночки трамвая, шепот автомобилей, иногда еле слышный невнятный разговор. Но тишина главенствовала – эти звуки я как бы чувствовал, но не слышал их. И самое интересное: это те картины, которые я видел во сне. Красивые цветы, деревья, трамваи, люди, амбалы в каком-то немыслимом цветном окружении, сменяя друг друга, проходили передо мной. Такой цветной сон я видел впервые и надолго его запомнил.

«Вставай сынок, нам надо идти», – разбудил меня голос мамы. Я очнулся; сначала не понял, где я нахожусь; после волшебного, красочного мира, увиденного мной во сне, все окружающее показалось мне тусклым, неинтересным. Мама взяла меня за руку, и мы пошли. Я осторожно сошел с тротуара на эту опасную площадь с ее суматохой, трамваями, машинами. Но переход оказался совсем не сложным, если знаешь, как надо идти. Сначала мы свернули на другой тротуар, дошли до его конца, потом еще раз прошли по узкой аллее, и оказались на небольшом пяточке, где было тихо и спокойно. Площадь осталась позади нас. Перед нами была лестница на мост через железнодорожные пути, когда мы дошли до середины моста, мама показала мне куда-то вперед: «Смотри, Виталик, это наш дом, там, где зеленые занавески». Я увидел перед собой высокую гору. Снизу эту гору подпирала высокая стена из крупных светлых камней. Вдоль этой стены виднелось синеватое асфальтовое шоссе. А на самой горе неровными рядами, амфитеатром поднимались дома. Это были южные дома, с застекленными верандами, балконами, и вся эта масса разно этажных домов сверкала стеклами, кое-где с вкрапленными цветными пятнами занавесок и развешенного белья. Зрелище было впечатляющее, как будто некий мозаичный пояс, или браслет немыслимым образом расположился на этой горе. Сразу практическая мысль: как же мы заберемся на эту гору – ведь ни дорог, ни тропинок никаких не видно.

Тем временем, перейдя пути, мы спустились с моста и оказались на маленькой площадке, перед высоким кирпичным забором. Справа от нас вверх поднималась еще одна лестница, ведущая на следующий мост. В отличие от железнодорожного, этот мост был каменный; в нем было что-то от римских акведуков, он имел один арочный пролет, сложен был из крупных светло – кофейных камней, скорее всего из армянского туфа. Под его аркой проходили пути электричек. Сработан этот мост очень красиво и добротнo, камни так подогнаны друг к другу, что не видно щелей между ними и это сооружение производило, особенно на расстоянии, впечатление игрушки, вырезанной из цельного громадного камня. В начале и в конце моста находились каменные крытые башенки, из которых открывался вид во все стороны. Мой интерес и симпатия к этому мосту окончательно укрепились, когда, спускаясь с него, примерно на середине лестницы я обнаружил слева маленький балкончик, который выступал над путями.

Я постоял на этом балкончике, держась за каменные перила, вслушиваясь в какой-то нарастающий гул. Под нами с визгом и скрежетом пронеслась электричка. Было интересно наблюдать за ней, как она на огромной скорости пронеслась под тобой и, постепенно удаляясь и затихая, исчезла за поворотом. Провода, растянутые под самым балкончиком, долго еще тряслись и дребезжали. Было в этом зрелище что-то страшноватое и одновременно притягивающее. Когда будучи в старших классах, я посещал этот балкончик, где перила тогда уже были на уровне моих колен, я часто размышлял, что за причуда была у архитектора, создавшего такой мост. У меня сложилось впечатление, что это такая большая игрушка, предназначенная для детей – здесь было бы интересно лазить по башенкам, играть; но вот громкие визжащие поезда, пронесившиеся внизу, вызывали ассоциации с каким-то жутковатым аттракционом.

Этот мост очень понравился мне, и впоследствии, когда мы куда-нибудь отправлялись, я просил, чтобы мы прошли по этому мосту.

Но это все будет потом, а пока, держась за мамину руку, я продолжал путь домой.

Мы перешли дорогу, прямо перед нами в стене, ограждающее шоссе, была небольшая лестница, ведущая наверх. Мы поднялись по этой лестнице и оказались на высоком пандусе, расположенном между шоссе и домами. А прямо перед нами виднелась дорога, ведущая на эту горку. Она устроена так: небольшая ровная асфальтовая дорожка, потом лестница, опять ровная площадка и лестница, и так до самого верха. «Этот путь к нашему дому самый трудный, мы пойдем по-другому» – сказала мама. И мы пошли влево по пандусу, вдоль шоссе. Пройдя квартал, за углом мы повернули направо; дорого шла круто вверх, проходила мимо каких-то арок, открытых дворики и низких домов с плоскими крышами. Дойдя до угла, еще раз направо; пройдя мимо кирпичной стены, мы оказались возле высокого каменного дома с балконами.

Поднялись по узкой длинной лестнице на второй этаж. Там оказалась довольно большая площадка. Еще несколько лестничных пролетов, поворотов и вот мы на четвертом этаже. Запыхавшись, я отпустил перила и стал озираясь: справа и слева от меня длинный балкон, куда выходили несколько квартир. Впереди через решетку балкона виднеется светлое большое пространство. Подойдя к балкону, я ощутил, что нахожусь где-то в воздухе на огромной высоте. Перила у балкона были из толстого, широкого дерева, а решетка из тонкого металлического профиля с крупным узорчатым рисунком, и она – эта решетка как бы растворялась в воздухе, издали было ощущение, что там пустота. Было страшновато подойти близко к этому сомнительному и опасному ограждению. Преодолев холодок в животе, я подошел к перилам, взялся за деревянную перекладину, немного потряс ее (она мне показалась крепкой и надежной) и заглянул вниз во двор. Двор был небольшой, несколько чахлах деревьев, кран над каменной ванной, ящик для мусора.

Под нашим двором, внизу были другие дома, крыши этих домов едва достигали уровня нашего двора. За этими домами опять видны были плоские крыши, как ступени, уходящие вниз. Странно выглядела эта гора, увиденная нами сверху. По мере удаления, крыши делались все меньше и меньше, потом стали мешаться с маленькими домиками, а вот и знакомый вокзал с его башнями, вагонами, паровозами и гудками, доносившимися до нас. Справа и слева, огибая вокзал, весь этот амфитеатр крыш как-то рассыпался, но еще можно было увидеть дома, кусочки улиц, высокие кирпичные трубы и наконец, совсем вдали, все это превращалось в мелкую серебристую мозаику, которая полукольцом охватывала бакинскую бухту.

Море с нашей высоты такое огромное, что кажется: вот оно, совсем рядом, дышит, переливается светлыми оттенками, то бирюзового, то голубого с зеленоватым.

А на горизонте, как будто в воздухе висел остров. Прожив в Баку более 20 лет, я так и не узнал один это остров, или группа островов. Называли его Нарген или Артем.

Я не мог оторваться от этого завораживающего зрелища; глаза внимательно прощупывали эту огромную, открывшуюся мне картину. Нравится тебе, Виталик, этот вид из нашего дома? Все, кто сюда приходит впервые, подолгу им любовются – услышал я мамин голос. Но у меня уже не было сил любоваться; огромное напряжение последних дней моего путешествия, долгий подъем в гору забрали у меня последние силы; ноги подкашивались, кружилась голова, руки, вцепившиеся в перила, онемели.

Мама взяла меня за руку, и мы вошли в дом, где я родился и рос до трех лет. Комната, куда мы вошли, называлась галерея. Стена, граничившая с балконом, снизу до половины была деревянная, а верхняя ее часть сделана из стекла, вставленного в рамы; три или четыре прямоугольных столба, поддерживали потолок; между двумя столбами была дверь, тоже наполовину стеклянная, она запиралась на маленький замочек. Мы вошли в эту дверь; я с интересом оглядывался вокруг, пытаюсь переварить и воспринять все эти резкие перемены, происходившие

со мной после того, как я покинул такой надоевший мне вагон. «А вот твой конь!» – сказала мама, снимая с него небольшой коврик. Конь стоял в углу галереи, возле большого окна во вторую зимнюю комнату. Я посмотрел на коня, на окно, возле которого он стоял, посмотрел на дверь, ведущую в комнату, в голове и груди у меня что-то тихо зашевелилось, как будто там еле слышный звончок, затем я явственно услышал у себя в голове, чей-то знакомый голос, который произнес «Гнедой». Я повернулся к маме, повторил «Гнедой» и отрыл дверь в комнату; за этой дверью был проходной коридорчик, больше похожий на маленькую комнату; я прошел туда и увидел.....!

Открывается дверь, с балкона заходит в нее мой папа, он несет сбоку огромного коня, и дальше; я стою около этого коня, и пытаюсь дотянуться до его уздечки, вокруг много народа, здесь и мама, бабушка с дедушкой, сестра Лиля, и все они пытаются меня усадить на этого коня, а главное удержаться на нем. Я все время скатываюсь набок, мне не за что держаться, кто-то пытается вручить мне поводья, и вокруг слышны голоса «гнедой!». Потом появляется плоская подушка, ее привязывают на спину коня, кто-то устраивает меня там и вот я уже, держась за поводья тихонько еду. И все эти события происходили в той маленькой комнатке, где я нахожусь сейчас.

Воспоминания промелькнули как короткая яркая вспышка в моей голове! «Надо же, ты помнишь своего коня» – услышал я мамин голос. Я рассказал ей, как дедушка говорил мне: «Вот какой у тебя теперь гнедой», как Лиля усаживала меня поудобней и потом прокатила по комнате туда-сюда. Я вернулся на галерею и подошел к коню – но тот конь, которого мне принес папа, был намного больше, я не мог на него залезть сам. Я попробовал усесться на коня, мои ноги касались пола, я даже мог проехать на нем, отталкиваясь носками туфель от пола. Прошло три года, после того как мне подарили этого коня. «Ты просто вырос, сынок, а конь остался такой же» – сказала мама.

Еще одно воспоминание поразило меня, но я не помню, когда это случилось: в день приезда или позже? Вот как это было: галерея освещена солнцем, солнечные блики и зайчики играют на рамах и стеклах, кругом море света; мимо рам по балкону кто-то проходит, я не вижу кто, для меня это скользнувшая тень.

Открывается дверь, заходит мой папа, я совершенно четко вижу его лицо, улыбку; у нас в Горьком с Лидой было много фотографий моего отца, мы часто их рассматривали и обсуждали, поэтому я хорошо себе его представлял. В руках он держит связку белых гусей, они связаны витой золотистой веревочкой. Он в белом парусиновом костюме, такие костюмы долго еще носили в Баку, аж до начала пятидесятых годов. Он вешает гусей на большой гвоздь возле двери, подходит ко мне, подхватывает на руки и подбрасывает вверх до самого потолка, и так несколько раз. Я ощущаю жуткую сладость полета, но мне нисколько не страшно, сильные руки прижимают меня к груди и затем опускают на пол. Когда я был в полете наверху, я почувствовал, что мои ноги задевают что-то мягкое; если мое первое воспоминание с конем происходило как бы в сумерках, и наполнено некой сумятицей, то этот эпизод с гусями и моим полетом был наполнен радостью и восторгом от полета. В какой-то момент, эта картина приобрела такую четкость и яркость, что я хорошо видел и фактуру белого костюма, и цветную веревочку на шее гусей.

Не помню, сколько времени я находился в этом потустороннем состоянии, потом как бы очнувшись, я увидел слева от двери большой гвоздь. Я рассказал маме об этом эпизоде, показал на гвоздь, где висели гуси, описал одежду отца. Мама опять очень удивилась, выразила восторг по поводу моей памяти и стала мне описывать некоторые другие случаи из нашей прежней жизни, но больше я ничего не помнил; только эти два эпизода мог описать подробно и обстоятельно. И еще, рассказывая маме о том, как отец меня подбрасывал, я упомянул, что наверху моя нога задевала что-то мягкое. Мама показала мне на потолок; там были ввинчены два больших крюка – «Тут висели кольца, сынок, на них твой отец занимался гимнастикой».

Тогда я воспринял эти свои видения, как обычные, ничего не значившие события; ну, вспомнил и вспомнил, подумаешь делов-то. Но когда по мере взросления и своего развития я стал аналитически мыслить, а эти видения не отпускали меня, в моей голове зарождалось много вопросов. Почему я не помнил дом, комнаты, свою семью, город, где я прожил около трех лет, а запомнил только эти два эпизода? В старших классах я был уже твердо убежден, что это были не воспоминания, а некие видения, связанные с чем-то потусторонним, недоступным для моего сознания. Я многим людям рассказывал об этих явлениях; сначала сверстникам, учителям. Отношение к моим рассказам было разное, от недоверия до путанных научных объяснений.

Так не получая ответов на свои сомнения и толком не осознав, что за чудо произошло со мной в детстве по приезду в Баку, я дожил до тридцати лет.

В 1969 году я лето и начало осени провел на Камчатке. Я был в корякском селе Хаилино, когда там объявилась какая-то научная экспедиция. Один из участников этой команды рассказал мне, что они прибыли посмотреть традиционный обряд корякских похорон. На мои вопросы, зачем вам это надо, я получил довольно пространственный ответ, который очень заинтересовал меня. У всех народов, живущих первобытнообщинным строем, с зачатками цивилизации, есть некая тысячелетняя связь с окружающей природой, землей, солнцем, планетами, которая сохраняется в мозгах потомков на генетическом уровне. Т.е. у этих людей с рождения заложена вся программа дальнейших правил и обычаев их жизни. Поэтому, изучая обряды, обычаи этих народов, мы (т.е. ученые) пытаемся проникнуть в сознание этого народа, образно говоря, заглянуть в их мозг. Причем это выражение не только красивая фраза, мне сообщили, что на Кавказе у некоторых народностей есть целители, занимающиеся трепанацией (вскрытием черепа), чтобы заглянуть в мозг, с целью устранения неких ран, недомоганий и прочих болезней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.